

Михаил ТАРКОВСКИЙ

42-Й ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Главы из книги

Гонец

Валерий приехал уговорить и забрать бабушку сниматься в фильме ее сына, Дяди Андрея. День или полдня он пробыл с нами. Бодрый, обходительный-настойчивый. С породистыми купальными причиндалами, которые не поленился привезти — ходили с ним купаться, а он по дороге расспрашивал, читаю ли я и что. Я отвечал, что Толстого, Достоевского и Чехова.

Потом Валерий уехал, и мы засобирались на съемки в то самое наше Игнатьево, где бабушка серпом жала осоку, делая мне козлы, и где прыгали по лужайке спутанные коники.

Согласилась бабушка безропотно и лишь ради сына. И что-то странное, неурочное, неправильное виделось — и в этой безроптности, и в нашем бросании Скнятина, вырывании от коростелей, только привыкших, поверивших в меня...

Игнатьево оказалось поджавшимся, современным, обензиненным, с новой буднично-сокращенной геометрией. И какой-то разбавленностью, словно кто-то решил снять халтурный фильм о моем детстве. Поселили нас в конце деревни, ближе к оврагу, когда-то казавшемуся за тридевять земель... Я писал Василию из Киржача (не Макарову, а Филиппову, школьному другу):

«Я уехал на съемки новой картины моего дядюшки. Это фильм о его детстве. Мое раннее детство тоже прошло там. Приехал я туда по Минскому шоссе, потом на "уззе" с передним мостом по размытой дороге. Дорога такая жуткая по глиняным горам. Так вот, приехал я туда, и все кажется таким маленьким — и дом, где я жил, и деревня, и всё вокруг. Я встретил там одного парня моего возраста, с которым я играл в три-четыре года, а он меня не узнал.

А на Хуторе, вернее там, где в 36-м году был хутор (где они жили), построили такой же дом (декорацию). В деревне у дядюшки дом, и там живет мой брательник (ему почти три года), то есть дядюшкин сын, с бабушкой (у него бабка клёвая) и со сводной сестрицей моих лет.

Все время лил и льет дождь. Съемки прекратились. (А снимать должны были мою бабушку (!) — только ты это никому не говори!)

...А Андрюха-братец мне понравился. Очень твердо заявляет в минуты гнева: "Покъятая (ый, ые), уходи!", "Уходи на уйцу и там живи!", "Уходи в яму (болото)!", "Хочу в йужу!" — "Зачем?" — "Пйосто так!"».

Несмотря на бодрый отчет об игнатъевском житье, чувствовал я себя здесь довольно никчемным. Глядеть, как бабушку снимают, меня не пускали. Какого-то осознанно-исторического интереса повидаться с дорогими местами у меня тогда не было. Вот и валялся на койке, читал, маялся, а за стеной или в сараюхе кто-то учился на шестиструнной гитаре. Монотонно боем — ля минор, ре минор, ми септ. И так до бесконечности. И всё не музыкой, а аккордами.

Дядька снимал избу по диагонали от нас. Заходим с бабушкой. Меня сразу кормят с очень серьезным и даже преувеличенным усердием — так мне кажется. И будто в уплату за то, что меня никуда не берут — хоть и знаю, что неправда. Дядька сидит в кресле, заложив одну ногу на другую: голень параллельна полу. Штаны особенные: бледно-зеленые, вельветовые, в очень крупную полоску, как гофрированные. Каждая вельветина широкая, двойная.

Такие же штаны, только в мелкую насечку, были у актрисы, которая играла в дядином фильме бабушку в молодости, — Маргариты Борисовны, приветливой, очень статной и стройной женщины, трепещущей своей красотой, как на вечном ветру. В упомянутых штанах она приходила изучать бабушку.

Сама бабушка сниматься приехала в моей куртке, коричневой, синтетической, из тех, что только входили в обиход. Новая она еще имела вид, а от стирок стала мягкой, потеряла шуршущее покрытие и сидела на бабушке бесформенно-плоско. И вроде минутная победа: надела бабушка что-то современное, но и тут же потеря: измена старинному. А еще и грустинка: от нужды надела, от безвыходности.

Конечно, в Игнатъеве я не только валялся на раскладушке: время от времени меня отправляли гулять с братцем Андрюшей. Вот идем вместе второй раз в жизни, а он как скажет: «Я тебя люблю». Такая же история случилась со мной спустя четыре огромных года: на экспедиционной подбазе в Бодайбо. Подбаза стояла рядом с «тубиком» (тубдиспансером) и тюрьмой. Мы ждали самолета на Иркутск, и я частенько прогуливался по соседнему проулку, где со мной и сдружился трехлетний карапузика. Он стоял на перекрестке (смесь гравия со шлаком) и диспетчерски оглядывал дороги. После второго разговора он взял меня за руку и заявил: «Я тебя люблю».

Гуляли мы по Игнатъеву и с Лялей (Олей), старшей сестрой Андрюши. Шли вдоль Москвы-реки по берегу, и я куб за кубом вываливал на Олю тайгу, горные системы и болота и даже умудрился спеть что-то про пихты и дожди. Больше ничего не помню из того Игнатъева.

Бабушка осталась ждать погоды для съемок, а в Скнятино закрыть лето мы съездили с мамой.

Погоды бабушка ждала долго, что подтверждает один стыднейший случай. Еще одна «стыдобушка».

Жрать давайте!

В ту пору я уже почитал себя несусветным лесовиком, настолько бывалым и матерым, что нес уже целое мировоззрение, которое ощущал единственно правильным и которое считал своим долгом навязывать встречным и поперечным. А так как именно бабушка наставила меня на полевой путь, то и любое его проявление я ставил себе в заслугу, расценивая как службу бабушкиному делу.

Родственников я умудрился охватить своими заботами, и они, охваченные, меня баловали. Отцов отчим дедушка Сережа Ерошенко меня очень любил. С бабушкой Мари-Макаровной (бабушкой Манюшкой) они жили между Болшевым и Подлипками в военном городке. Дед Сережа работал на королёвском заводе, а я мечтал о металлической поняге: станковом рюкзаке, удобно лежащем на пояснице и правильно распределяющем груз. Каркас имеет полку, на которую опирается мешок. Такую конструкцию я пытался делать то из раскладушки, то из толстеной алюминиевой трубы, дуга которой торчала на полметра над головой...

Зашел к нам Дядя Андрей, а я немедленно вытащил к нему свое страхование, рассчитывая на восхищение и одобрение и одновременно понимая, что нет ничего глупее, чем впереться к дяде с этим станчиной. Дядя Андрей очень снисходительно и сдержанно наблюдал за мной, и улыбался — не то вынужденно, не то насмешливо.

Я знал, что каркасы варятся из титана в «атмосфере аргона», и попросил дедушку Сережу, чтобы он на военно-космическом своем заводе такую атмосферу нагнал и сварил станок. Он сказал, что сделает, но только не из титана, а из алюминия, потому что титан дело слишком военное и секретное. «Давай чертеж». Я дал, и он все сварил, но, что самое великолепное, вывозить изделие за заводские ворота пришлось в мусорной машине.

Жена Дяди Андрея — тетя Ира — в свой черед привезла с Донбасса и подарила мне шахтерский аккумуляторный фонарь. Такие фонари очень ценились среди спелеологического люда, с которым мы смежничали по походным делам и от которых я нахватался словечек, вроде «штрек» и «шкуродёр».

И вот с этим фонарем поехал я с товарищами в сентябре 1973 года в карстовые пещеры на берегу Москвы-реки. К пещере этой идти от станции «Санаторная», а это один перегон до Тучкова — нашего, игнатьевского.

Пришли к пещере в сумерках, развели костер, а потом долго лежали рядком в спальниках на высоком берегу по-над речкой... Тихо было. На той стороне, откуда мы пришли по подвесному мостику, горели огоньки, при виде которых во мне горчайше всколыхнулись строки из дедушкиного стихотворения про белое платье на том берегу, про «шатучий мост, и женщину в платке». К ним добавилось еще что-то уже мною напутанное и напридуманное, связанное с бабушкой, нашими игнатьевскими мостиками и купаниями, до которых отсюда было верст пять... То есть почти так же, как и до Хутора, где еще шли съемки фильма и где до сих пор находилась моя бабушка. Поэтому, отлазив пещеру, я предложил своему товарищу туда и сходить. Не то с годами картина осеребрилась, не то и вправду легчайший снежок упал к утру на притихшую округу, но так и остался в памяти облетелый лес с голым седым полом, темные ветви и общее, задумчивое и аскетически-строгое состояние природы.

Думал ли я о том, что ушло в осень мое последнее с бабушкой лето? Наверяд ли...

Зато метил именно к месту съемок, понимая их важность, даже исключительность, и желая щегольнуть перед товарищем своей к ним причастностью. Направление и местность я чувствовал прекрасно, и мы довольно быстро выбрели на Хутор. Среди леса на опушке стоял макет бабушкиного дома, вокруг которого стянулся, навис целый свод людей, проводов, ослепительных фонарей, туманно дымящих графитом. Зрелище абсолютно странное и фантастическое по

несметной концентрации сил, притяжению к сияющему эпицентру действия, отчего казалось: еще минута — и даже елки с соснами магнитно склонятся к заповедной этой избенке с бабушкиным прошлым.

Среди плотнейшего этого пространства бегал Дядя Андрей, крича резким голосом, растягивая слова и ругаясь. При всей своей будто тертости одет я был в брезентиновый защитного цвета костюмчик с клепками, а на поясе висел в чехольчике туристический топорик с резиновой ручкой. Так ходят только начинающие, и все это выглядело довольно позорно и совершенно не матеро, с точки зрения меня даже год спустя, но в тот момент казалось прекрасным. С этим чувством и вломился я в светящийся круг.

Дядя, словно подстраивая окуляр, с недоумением и удивлением взглянул на меня и протянул руку. И про бабушку сказал, что она в техникуме. Мы пошли в техникум. Где через Москву-реку был натянут тросовый мостик вместо нашего с бабушкой, деревянного.

Бабушка жила в общежитии техникума вместе с семьей Дяди Андрея, его женой и тещей. Все были на месте — утретые и по-домашнему расслабленные. А я чувствовал, что образ лесовика, провонявшего костром и проползшего сквозь «шкуродёр» полушкинской пещеры, прошелся по дяде и его свите слишком вскользачку. А главное, настолько верил в свою роль первопроходца, изыскателя и помеси Арсеньева с Федосеевым, что, едва войдя в дом и поздоровавшись, уселся за стол и, обратясь к бабушке, бодро воскликнул:

— Жрать давайте!

Стыд и глупость картины в таких случаях я чувствовал сразу, но уже ничего не смог поделать. До сих пор вижу ошарашенные лица Ларисы Павловны и Анны Семеновны. Тарелку с пряным каким-то супом. И бабушкины глаза...

Зеркало

«Зеркало» я посмотрел впервые сразу по выходе картины, когда бабушка еще была жива. Запомнил кусками, скорее общим впечатлением чего-то пронзительного, странного и требующего привычки. Сильнее всего пробрал порыв ветра с потусторонней замедленностью мнующихся кустов. И как заклинание был его повтор, попытка растопить душу, довести до молитвенной почти плавкости. Поразило и начало, когда мальчишку лечат от заиканья. Как песня в «Калине красной», где документальность глядится вершиной, перевешивая все потуги художества.

Второй просмотр случился после бабушкиного ухода. Я уже повзрослел и хватил Сибири, куда-то уже повмерзав и попилив зубной мост напильником. Едва я увидел бабушку в моей куртке... — с тревожным лицом она шла по полю с двумя ребятишками... — как меня поймал такой рев, что я еле дожил до занавеса.

Бабушкин сын

Я точно знаю: на свете два великих режиссера — Василий Макарович Шукшин и бабушкин сын. Картины последнего нередко подкупали и того зрителя, который мне глубоко чужд, но обсуждать здесь причины не буду. Дядю Андрея я боготворю и считаю великим и единственным в своем роде, так как стоит он на

фанатичном и бескомпромиссном служении духу. С Шукшиным они как две полусферы русского сознания, две защитные половинки. Внутри же мантия, нежный расплав — наша душа.

Никак не уйти от вопроса о дядиной православности. Почему он не считал себя вправе быть напрямую религиозным в фильмах? Почему считал, что одно дело — слово Божье, а другое — язык искусства, и намеренно их не смешивал. Хотя Достоевский, которого он боготворил, замеса этого не боялся. И что это было: вид гордыни, выражаемый словом «не посмею»? Или страх, что не получится? Или дух времени и невовлеченность в церковную жизнь?

В «Сталкере» комната желаний на первый взгляд — Бог. Но комната исполняет именно сокровенное желание, то есть желание, которое выражает твою суть, независимо от того, насколько она низка или высока. Дикобраз пришел просить вернуть жизнь брату, в смерти которого повинен, а Комната-Зона дает ему мешок денег, поступая жестоко, мстительно, отвергая покаяние и отнимая надежду на прощение и исправление. Значит, комната желаний — не храм Божий. В картине свой строй и логика, без которых не будет драматургии.

Дядя был на пути к вере, на подступах, на рубеже, как боевой заслон на подступах к монастырю, и для мира энергия этого рубежа, этого отчаянного стана, сильнее, чем энергия монаха, сидящего в келье. То же можно сказать и о бабушке, которая не носила креста, но у врат стояла.

Но откуда у дядьки такая смелость? Я бы никогда не посмел пустить мать по полю своего детства, да еще с ребятишками. Да еще чтоб на заднем плане крест стоял из телеграфного столба... Это так же невозможно, нещадно для сердца, как у Шукшина, когда Егор ходит в черных очках по комнате, пока за перегородкой Мать (настоящая, не актриса, русская бабка!) рассказывает Любе об исчезнувшем сыне.

Это как писатель по молодости говорит о ему понятном, а когда спросят, «почему вы не напишете о том-то и том-то», замнется: «Ну, вы знаете, это сложный вопрос... неоднозначный...» *Не полезем туда*, обидим, не дай бог, кого или не справимся, а то и себя со слабой стороны покажем... А художник — тот, кто не боится копать, где больно и сложно. Кто лишь туда и роет. Смотрит, где потрудней взять. Где душа рвется.

Вот и заставил маму-бабушку вернуться в себя, брошенную мужем с двумя детьми, в предвоенный год, в место, которое ей всю жизнь потом снилось. Куда при мне ходила, как на пепелище. Раненная былым так, что места живого не найти. И вот эту раненую решил еще доковырять, дорезать, камерой дострелить... И она смертельный этот заряд приняла со всей простотой и доверием. Шла хоть в поле. Но с ним.

Как раз в то поле, где по ее сказке медведь крутил ручку кинокамеры...

А на съемках трудно ей было. И обстановка не своя. И люди. И сердце после барахлило.

Дядька говорил, что, когда хочет сказать близким хорошее, на него как столбняк нападает. Мне это знакомо с ранних лет, и связано оно с боязнью, что мама расплечется, растрогается и я этого не выдержу. Так и не смел, боялся тронуть сокровенное, от чего дрогнет голос матушки и подбородок возьмется мелкой ямкой — точь-точь как на персиковой косточке.

В студенческие годы был случай. Я к тому времени всю молотил по гитаре и даже сочинял песенки, одну из которых спел девушке по телефону. У нас было два телефонных аппарата, и бабушка во время моих разговоров, бывало, поднимала вторую трубку.

Песня была разлетно-лирическая и, как водится, про осень да журавлей. По окончании я с эффектом грохотнул по струнам, а девушка прошептала: «Спасибо, мужик». Именно так... «Мужик», по-лесному, костровому... Через несколько минут вошла бабушка. Глаза ее странно сияли. Редким, особо дрогнувшим голосом, она сказала, что «хорошо» я сочинил... «про журавлей». Тут и меня столбняк прошиб.

А дядька, выходит, только в жизни боялся ямок на подбородке. А в картинах — нет. И брал выше себя, и мать тащил туда, где образ сильнее времени и где сам только и был человеком.

Снова зеркало

В 73-м же году случился аврал: дед Арсений, будучи в квартире один, сломал два ребра. Жил он в огромном доме на Садово-Триумфальной над знаменитой актрисой и, так и хочется добавить, — под прославленным генералом. Пусть так и будет.

Татьяна Алексеевна была в отъезде. Дед умудрился позвонить бабушке, а когда мы с ней приехали, дополз и открыл дверь.

Он лежал на полу — одноногий, в черных трусах. Бабушка велела тащить табуретку — я притащил. Подняли, усадили и замотали полотенцем вокруг груди. Сломанные ребра — пребольнейшая штука, и у деда в какой-то момент аж слеза сверкнула. Но не в боли дело было, а в переживании беспомощности, жалкости, а может, и еще чего-то более глубинного.

Он сидел на табуретке. Оковалком теста торчала из трусов белая кулья. И бабушка, как-то особенно обострившись обликом, переговаривалась с ним коротко и негромко.

Я думал о бабушке и ее прошлом, казавшимся доисторически далеким. На молодых фотографиях меня поражала смоляная чернота дедушки, его молниеносные черты и бабушкина светлость, мягкость. Дедова кровь казалась сильнее. И я был, конечно же, за бабушку. Но и о деде думал: что при всем его внешнем благополучии была в нем невыносимая какая-то горечь, за которую близкие, казалось, и прощали ему его предательства.

А ребра сломал так. В гостиной над дедушкиным диваном висело большое горизонтальное зеркало в деревянной оправе. Резная тяжеленная рама роднила его с зеркалом дубасовского зеркального шкафа. Дед лежал на диване с книжкой. Оборвалась веревка, и зеркало на него обрушилось.

Дядюшкин сон

Любила бабушка дядьку безоговорочно. Детство мое с самых туманных дней прошло под ее рассказы «об Андрее». Шли по Щипку к Жукову проезду, где всегда наносило чем-то угольным, и бабушка говорила, что у Андрея был абсолютный слух и что он с первого раза запоминал мелодию. Шли к Люсиновской, говорила, как привела в консерваторию и он при первых звуках вытянулся

вперед да так и просидел до конца. Шли по Мытной — рассказывала, какой у него прекрасный был голос и как его учительша из музыкальной школы готовила к празднику, когда голос ломался, и он голос сорвал.

А когда я разбирал его краски — рассказывала, каким он был отличным художником и как рисовал этюды без рубахи, и ему «солнцем нажгло затемнение легкого» — поэтому она не любит, когда я без рубахи хожу.

И когда шли мимо клуба — бывшего храма на Ляпинке, и там стоял на костылях спившийся одноногий мужик с опухшим лицом, говорила о том, как много было у него друзей — «с ним интересно было». И показывала на одноногого — бывшего его друга и заводилу... — с мешками под глазами и белесыми глазами навывкате.

Бабушка как огня боялась компаний и, когда он бросил институт восточных языков, отправила дядьку на Енисей в экспедицию.

Без конца твердила она про Енисей, с которого «Андрей приехал вот с такой мордой», которую будто до размера хорошего глобуса «нажрала мошкá». И про «торс» (в косую сажень), который дядька наработал, долбя шурфы. Слово «мошкá» она произносила по-сибирски, с любовью к этому говору, и поясняя, что именно так говорят: «мошкá», а не «мóшка». (Это как «компáс» и «Мурмáнск».)

Слова «Курейка» и «Игарка» произносила так же свойски, как «Жиздра». Почему Игарка? Ну вот кто-то кричал на берегу: «Его-о-орка! Как живздрав?» При этом ни я, ни бабушка понятия не имели о том, что, например, курейка — это закуреинка, маленькая курья, то есть заливчик на Енисее или притоке.

Все-то на Енисее было удивительным. Берега отвесные и какие-то... брычучие. Волна, допустим, ударится в берег и настолько сильно откатится к противоположному, что при ударе пойдет обратно с еще большей силой. И так и бьет от берега к берегу, набирая ход и делая шторм. «Да, на Енисее шторм называется». И сладу с ним нет в таких берегах. И выходило, вечный двигатель придумала.

А дядька ходил по тайге с геологическим молотком и вроде бы даже и с кайлом, и однажды начальница отправила его на лошади в дальний маршрут. Я так и представлял, что едет он вверх по Курейке, по высокому и почему-то правому (как подниматься) берегу. Метров семьдесят от края, который невидными утесами нависает над Курейкой. Утесы черные. И кедры черные, и вообще все грозно таежное... Уже вечерет, особенно быстро и угрюмо, потому что небо заволакивает тучей. Это разыгрывается буря. Хорошо, что на пути оказывается избушка. Слева от тропы. Дверью на запад — откуда приехал дядя. Дядя привязывает коня. И затопляет печку в зимовье. Печка слева у двери, нары одни — справа.

Гудит ветер, клонятся лохматые кедры. Уютно потрескивает и гудит печка, пламя рыже выглядывает из поддувальца.

...Это я так представляю, поживаясь от удовольствия.

Но вообще не слышно печи, потому что дерет ураганный ветер. Кстати, запад, судя по внезапности, силе и кратковременности. В общем, лег Андрей спать. И уже было заснул после трудового маршрута, как вдруг могучий голос раздается: «Уходи отсюда». Бабушка повторяет это «уйди», и оно мне напоминает многократно усиленное «ведь столько огня будет!». «Уходи отсюда!»

Дядька переворачивается на другой бок, засыпает, и снова раздаётся голос: «Уходи отсюда!» Бабушка повторяет эти слова ещё грозней. А дядя переворачивается на обратный бок. Наконец голос врывается в дядюшкин сон в третий раз, и дядюшка выходит, а может, даже и бросается из зимовья наружу... И мгновение спустя на тот угол, где он спал, где была его голова, валится огромный кедр и ломает половину избушки. «Прямо на тот самый угол!» Огромный, извилисто ветвистый кедр. «В два объёма. Знаешь, что такое объём?» Так складывался образ Енисея — из бабушкиных рассказов и гравюр к книгам Астафьева — очень картинных и условных. В жизни Енисей оказался и строже, и как-то повальней, чем представлялось, покрытым необыкновенно свежей таежной зеленью.

Мальчишкой я не раз пересказывал эту историю товарищам, повторяя со страшной интонацией «Уходи отсюда!», но с годами все больше сомневался в правдивости сказа про кедр и понимал, что это не более чем таежная байка для страдания или, наоборот, убажания горожан. Да и на полярном круге не может быть таких «огромных» кедров, что проламывают избушки... Ещё если б листвяк рухнул... Хотя можно допустить и исключительную хилость избушенции, что не вяжется с былинностью рассказа (конь, изба, кедровица). А главное, сама отправка коллектора и почти ещё десятиклассника в многодневный маршрут была сомнительна — в геологических партиях с середины 1950-х годов по технике безопасности в одиночку не пускали.

По своему духу этот случай напомнил историю, рассказанную мне моим будущим другом и наставником по промыслу Геннадием Соловьёвым. Ей он ответил на «сказ о кедре». Один охотник, допустим, Прокопий, пошел охотиться на участок, принадлежавший промысловому, который погиб при странных обстоятельствах. И вот зима, ночь. Спит Прокопий в зимовье и вдруг... слышит скрип лыж и голос. Просыпается, пытается встать с нар, но будто свинцовая сила не даёт ему подняться. А снаружи голос: «Уходи отсюда!» — и тоже троекратно, а потом скрип лыж удаляется. Когда Прокопий выходит, то следов нет, и самое поразительное — собаки так же сопят в будках и носом не ведут.

В среде охотников такие байки не рассказываются, это больше для поражения воображения приезжих любителей мистики.

Ещё бабушка рассказывала, что дядька нашел муху в окаменелой смоле. И что обратный путь в Красноярск был долгим и трудным. Ехали на барже, которую тащил буксиришко. Баржа, по рассказу бабушки, была настолько низкая, что, когда меж берегов завязывался саморазгоняющийся бабушкин шторм, вода перекачивалась через баржонку и как раз смыла рюкзак с окаменелой мухой. Это к тому, что и муха в янтаре напоминает легенду. Енисей не Рижское взморье. Хотя чего не бывает.

С янтарной мухи бабушка переходила на спальный мешок, и я представлял этот загадочный и желанный мешок, овальный, толстый и с собраным горлом — в точь, как у мешка для сменной обуви.

— Бабушка, а у меня будет спальный мешок?

— Будет обязательно!

После Курейки Дядя Андрей поступил во ВГИК, но ещё долго не отпускал его Батюшка-Енисей... Однажды на лекции произошла такая переписка с Шукшиным: «Вася, как по-сибирски залив? Я что-то забыл». — «Затон?» — «Нет... По-другому как-то»... Несмотря на то, что в Алтайском крае

есть поселок Курья, сам этот термин (поморского, кстати, происхождения) на Алтае не распространен так повсеместно, как на Енисее, и в обиход Шукшина не входил. Поэтому Вася не ответил... А Андрей забыл. Эх...

Крылатый лев

Одно из первых воспоминаний о дяде — наш с бабушкой поход на квартиру, которую дядя будто снимал с женой. Мне не больше пяти лет, помню смутно, и тот день почему-то как сквозь темно-синее стекло видится. Будто комнатенка совсем темная и синими шторами завешена. А мы смотрим стацию крылатого льва, которую дали дяде Андрею в Венеции за «Иваново детство».

Мы в притемненной комнатенке, и кто-то невидимый нам показывает этого льва. Это и есть Дядя Андрей, но он существует лишь в виде рук, открывающих футляр, стоящий на полке. Лев в сумерках тускло-золотистый и в мелкой рисочке. Он тяжеленный и с крыльями. Несмотря на сумрак ярко видятся эти острые крылья, их стремительный излом, срыв назад, как у оперенного ветром лоскута пламени. Нутро футляра из синего тоже бархата, и оно очень подробно и фигурно выполнено с бархатными же прорезями под крылья, ножнами под эти тяжелые, острые, горящие золотом крылья. Которыми страшно порезать синий подклад...

Про этого льва и про «Иваново детство» бабушка повторяла с неподкупной какой-то преданностью. Так же как после «Андрея Рублёва» повторяла: «Коля Буряев», как будто он родственник.

У Дяди Андрея появилась квартира напротив Курского вокзала. Бабушка ходила туда к Сеньке и меня таскала — ей либо ключ давали, либо клали под коврик. А с Сенькой бывало и оставалась, когда родители уезжали на съемки.

В квартире пахло кофеем и еще чем-то остро-прихотливым. Печатная машинка была, небольшая, плоская, тяжелая, с синеватым отливом. Я печатал на ней. Восхищал верный набор лапок и то, как послушно лапка поднимается, и что у каждой — свой угол изгиба. Казалось, такая сложность и красота заслуживает большего, чем серый рядок букв.

Попадали мы туда двумя путями. Один — через Садовую, а другой самый заповедный — через Покровский бульвар, на который добирались на трамвае. К Садовой выходили по улице Обуха. Там был музей восточных искусств с косяными изделиями, вроде резного шара, в котором внутри корабль, тоже мельчайше резной.

Долго считал, что этот музей — одновременно и институт восточных языков, где пытался учиться дядька до того, как пошел на режиссера.

Однажды мы пришли на Курский, и никого не было дома. Вдруг раздался звонок в дверь. Бабушка открыла: там стоял худощавый человек с открытым лбом. Он спросил, дома ли Андрей, и, узнав, что нет — ушел. Бабушка сказала, что это, наверное, Солоницын. Сказала негромко, словно разгадывая тайну и боясь спугнуть. Это и был Солоницын.

Имя «Андрей Рублёв» я тоже услышал от бабушки и тоже в ее манере: просто называть город, реку или имя, не объясняя. Я воспринял Рублёва в цепной связи с дядей — Дядя Андрей, князь Андрей, Андрей Рублёв. Бабушка пересказывала два наиболее поразивших ее места: как Рублёв не смог писать Страшный Суд и шарaxнул глиной в чистую стену. И показывала — размашисто

и медленно. Скорее всего, шарахнул он не глину, а черную краску, да и вряд ли в старину художник-монах допустил бы такое шараханье, но бабушку это не волновало.

Второе бабушкино любимое место — как Дурочка в оскверненном татарами храме заплетает косу убитой девушке. Про колокол молчала, видимо, тоже не понимала, как так можно *такое* придумать...

«Ты колокола лить, я иконы писать...» И пусть вершины кино лишь едва касаются стоп литературы — знаю, Федору Михалычу тепло от этих слов...

Уже подросшим ездил на праздник в Юрьевец. Во Владимире вышли из автобуса, и Терехова показывала собор и место на угоре, где колокол отливали. Потом мы все куда-то пошли, а Терехова сказала: «Голова так болит» — и бросилась обратно, на место, где отливали колокол. Я вернулся за ней на высокий тот яр: она стояла, трепеща волосами на ветру — великолепная и опасная...

И еще было ощущение, что колокол и по сей день под нашими ногами — навсегда зарыт. Я был уверен, что лили его взаправду, и лишь недавно узнал, что из цемента.

Дядя приходит к нам

Не сказать, что дядя редко приходил к бабушке. Приходил. Как-то мы слушали пластинку «Бременские музыканты», а он пришел и с нами сидел, и странно было, как он после «Рублёва» *такое* слушает и не фыркает.

Он не фыркал, а потом взялся очень смешно рассказывать, как собирался на работу, а Сенька спрашивал: «Куда он?» — и ходил по комнате. И показывал, как ходит Сенька — длинно и размашисто, при растяжке ног проседая, как на шпагате: «Папа! Папа!» Чувствовалось, что ему нравится, что его зовут «папа», и он опробовал, обкатывал это слово. «Папа, не уходи!» — «Надо идти. На работу, денюжки зарабатывать...» Дядя Андрей весь сиял...

Про Цветаеву заговорили, и дядя — со своей растяжкой протянул, улыбаясь рисочками у глаз: «Претенциозная была дамочка...» Потом о Маяковском жестко. За наступание на горло песне и союз с властью... Ну да, мол, конечно, казнил себя за это... Но после...

Обаяние у бабушкиного сына было нечеловеческое. Облик неповторимый. Резок был и мягок одновременно. Крайне графичен на портретах, а в жизни поражал подвижностью черт. Улыбался глазами, собирая и распуская морщинки. Глаза — серые в зелень и необыкновенно живые, искристые, и вокруг них свое трепетное поле. На бабушку не похож. Очень широкие выдающиеся скулы, переходящие в торчащие углы челюстей. Кожа какая-то будто тонкая — такая должна плохо жизнь держать. Волосы объемно-плотные и как матовые, крылом лежащие. Весь быстрый, но при всей быстроте движений необыкновенно и даже вызывающе спокойный — словно двойной: рядом с живой, трепетной жилой — еще одна протяжка, почти надменная. Обожал сидеть ногу на колене и всегда одевался с щегольством, никак не вяжущимся с духовно высотой его картин.

Разные люди, разная притягательность. Есть поразительно обаятельные, совершенно ничего не создавшие и просто проживающие свою жизнь по высшему разряду. Бывают большие созидатели и художники, на вид совершенно заурядные и внешней статью недотягивающие до своих детищ. А Дядя Андрей сам был как произведение, и заслуга его пред культурой шла как добавка. Это было

и поразительно, и опасно: с детства казалось, что по-другому и быть не должно. И что остальные — сплошная недотяжка. Из художников такой сборной силой владел лишь Шукшин.

Дядя Андрей говорил странным, резким тембром, и мне страшно нравился этот голос. Несколько манерно и с прохладцей растягивал гласные, и на букве «л» оттягивая угол рта и им хлопая. «Очень сло-о-ожно...» «Су-о-о-жно». С небольшим подвывом, изгибом на «о» — после хлопка углом рта. И сам в себе поддразнивал эту неисправность: «Лебедь уплыл в полумглу».

Рассказывал кому-то о задумке «Ностальгии» — несколько раз повторяя: «И вот этот конфли-и-икт!» Тоже с подвывом, снизу вверх. Я спросил маму, всегда ли он говорил с такой капризной растяжкой и таким подчеркнuto независимым менторским тоном? Она сказала, что когда стал знаменитым. «А до этого нормально говорил?» — «До этого — да».

Труднейший выпендрезник. Безапелляционная манера, если не высокомерная, то самоуверенная, как будто он все время на интервью у недоброжелателя-недоучки. А главное, все время осаживал твой пыл. У нас утонул товарищ. Говорю: «Большая беда. Очень хороший человек утонул, работал в экспедиции...» — «Как утонул?» — «Ну я там не был... Вроде выпил. И упал на берегу. Захлебнулся». Пожимая плечами и почти с возмущением: «Ну он же пья-яный был...»

Бесконечно возвращал собеседника на землю, и это являло поразительный, а может, и закономерный контраст с той высотой, с какой открывался в фильмах и на выступлениях. И казалось, право на высь завоевано именно земной этой остью.

Кобеля вязали?

В новую дядину семью бабушку приглашали, и она хаживала, но как-то крадучись. Прихватывала и меня раз или два.

Дом на Мосфильмовской. Пришли. В прихожей встретили Дядя Андрей, сын Андрюша и собака по кличке Дак, здоровый псина, про которого бабушка говорила — тоже с интонацией данности и без объяснений — «у них Дак». Сразу в прихожей зашла речь обо мне и моих планах-пристрастиях. С чего началось, не помню. То ли дядя из вежливости спросил, то ли бабушка решила мною хвастнуть, что, мол, после школы нацел на тайгу. И дядя негромко сказал Андрюше, словно в продолжение какого-то очень *ихнего* разговора, мол, видишь, человек уже знает, чем хочет заниматься.

Тут Дак ко мне подошел обнюхать и я, от смущения решив блеснуть бывалостью и открыться еще и собачником, спросил: «Кобеля-то вязали?» Ожгло ощущением глупости, пошлости, того, что дядя уже прорезал меня искристым своим взглядом вместе с моими мыслишками и резонишками. И все при том, что с Андрюшей у них чувствовалась теснейшая, вызревшая какая-то перевязь, и в его присутствии у дяди наверняка обострялся нюх на фальшинку. Андрюша вопросительно глянул на отца и негромко спросил, что значит «вязали»? Дядя что-то ему камерно ответил, а мне сказал, что нет, не было такого дела вязального. А потом для всех с улыбкой и растяжкой продекламировал: «Он вообще спокойно относится к женщинам». И добавил совсем навьинос и с иронией над обоими падкими: «Как всякий настоящий мужчина».

Как-то ходили с мамой на его день рождения. Снова прихожая с большим зеркалом. И у зеркала сестры Чугуновой, близняшки. Брюнетки-красавицы... Обе в черном. Одна перед зеркалом очень старательно и показательно мажет помадой губы, сильно орудуя ртом, кругля его и пристально в него вглядываясь. У нее черные брюки в обтяжку, а выше — кителек или еще что-то, тоже обтяжное, короткое и открывающее полосу смуглой спины с ложбиной позвоночника и гладкими мышцами. Кто-то произнес слово «Реквием». Она, как со сцены, восклицает: «Я же пела его! Я пела!»

В гостиной-кухне пригостительная возня, и дядя нас приглашает в комнату, где мы садимся втроем и разговариваем. Кто-то звонит, входит. Дядя срывается, выходит и возвращается с чем-то коньячным в матовой бумаге и морщится, кулуарно и с прохладцей: «Что за манера с бутылками приходиться». И, спохватившись, хлебосольно: «Хотите арманьяк?» И угощает нас арманьяком поразительной мягкости. Мама, любую каплю употребленного мною спиртного обращая в катастрофу, ни слова не говорит, а я и рад и солидно пригубляю. Дядя к этому времени в преддверии «Ностальгии» побывал в Европе, в Париже, кажется. Речь зашла о лечении зубов, и он рассказал, как ему лечили зуб, и как там все организовано: делают укол и работают двое — врачиха и помощница, и что это страшно дорого, но ему сделали «естественно, бесплатно».

Дядя спрашивает про Енисей. Я говорю, что «вот, в экспедицию туда езжу». Невозможно хочется услышать что-то восторженное о Енисее, и я спрашиваю: «Как тебе места?», а он отвечает, что места действительно великолепные. Спрашиваю, помнит ли он Мирное и Бахту, которые проезжал на барже? Он не помнит, помнит Туруханск.

Я говорю что-то восхищенное про енисейских мужиков, выводя на народ вообще. Он морщится, совершенно как князь Андрей при слове «жена», и тянет: «Дорого-о-ой Ми-и-иша, о чем ты говоришь, русский народ давным-давно-о-о кончился». На меня веет чем-то дворянски-эмигрантским и одновременно убийственным, связанным с отнятием права на будущее.

Мне страшно хочется звать его не Дядя Андрей, а как все — Андреем, но на такое панибратство я не решаюсь. Даже обращение «ты» для меня почти усилие. Спрашиваю: «А вот мне бабушка рассказывала историю, как ты ночевал в тайге и кедрá (специально говорю «кедрá», а не «кедр», небрежно так) упала». — «Да, — как-то сразу, не напрягая память, отвечает дядя, — было такое дело». Я лезу дальше, мол, а ты не придумал, случаем? И он говорит, что придумал. Или подслушал — не помню...

Наконец всех пригласили за стол, за которым Дядя Андрей с женой вдруг заназывали друг друга на «вы». Через какое-то время Дядя Андрей уже совсем застольным вещающим голосом предложил выпить за Ларису Павловну, и угол рта хлестко отыграл на буквах «л». А потом образовался между ними диалог, смысл которого состоял в том, что ей трудно быть женой такого вот человека. И он несколько раз повторил: «Я понимаю, как вам трудно!» А она, понимающе кивая, каждый раз опускала глаза и говорила отрывисто: «Да. Да!»

Больше ничего не помню, и, кажется, мы рано ушли.

В этой же квартире оказались мы с мамой на дне рождения Дяди Андрея, когда он уже был за границей и, видимо, ждал разрешения на выезд семьи. Народу было немного, и смотрели по видеоманитофону «Ностальгию». Картина

показалась придуманной «Рублёва» и «Сталкера», словно в тех были события, а здесь зашифровка идей.

Присутствовал и друг родственника Дяди Андрея по молодежно-музыкальной линии — очень носатый и прядисто длинноволосый человек в коричневых очках и с висячим подбородком. Волосы у него были мучительно откинута назад. Мама потом вспомнила, что это «какой-то певец»...

Он смотрел молча, а перед проходом Янковского со свечой необыкновенно значительно и бархатно проконстатировал: «Это важное место». Когда фильм закончился, все как-то перешло на видеоманитофон, и мы с женой спросили, сколько он стоит, а человек с бархатным голосом сказал, что две с половиной тысячи. И мы, чтобы не показаться бедными, зачем-то переглянулись и сказали, что надо будет «обязательно такой купить».

Потом был сеанс связи с Дядей Андреем по телефону. Всех по очереди приглашали, и настал мой черед. Я пролепетал: «Здравствуй!», поздравил с днем рождения, спросив что-то вроде: «Как ты?», в который раз поражаясь этому «ты» и не зная, что говорить. В ту пору из собиравшегося жить на Енисее я превращался в живущего, и енисейская тема упрощала общение со мной, избавляя от придумывания вопросов, и дядька спросил: «Ты все так же интересуешься птицами? И едешь на Енисей?» С чувством слова, подтвержденного делом, я сказал: «Я живу на Енисее». — «Это очень хорошо. Там надо жить», — сказал Дядя Андрей совсем издалека. И было непонятно, почему он в том далеке, если надо жить на Енисее.

В 1986 году под Новый год вернулся я в Бахту со своего первого промыслового сезона, точнее до новогодней его части. У меня еще не было жилья, я жил то у своего друга Толи, то у наставника Геннадия. Под Новый год освободилась старая промхозная контора, и я туда заселился. Поставил стол, купленный когда-то бабушкой, на него дедовскую подставку под перья — мельхиоровую с литьем. Морозы стояли под пятьдесят, а я подцепил гуляющий по деревне грипп и валялся с температурой сорок. Встанешь подтупить печку, аж кидает...

Оклемався кое-как к 29-му числу. Слышу, прогремел и остановился «буран», подкатив по гипсово-твердому снегу на уровень окна. Перекатываются хрусткие шаги, отдаются по всей избе — снег так плотно и твердо примыкает к сруб, что образует единый короб. Всплывая из сорокаградусного жара, слышу здоровые и сильные эти звуки, как через вату. Раздаются несколько глухих через рукавицу ударов, и, не дожидаясь ответа, вваливается в клубах пара Геннадий Соловьёв в длинном до пят азяме (суконной куртке). Заиндевелые полы как две плиты. Он с ведром, которое не стал оставлять, чтобы кобели не испакостили, и, понятно, едет по воду. Войдя, рубит своим глуховатым голосом: «Здорово! В общем плохо дело — дядька твой умер!»

И уехал, но не трусливо, а понимающе — оставив меня наедине с известием.

Что-то перевернулось в душе в эти минуты, и кроме чувства дикой потери возникло новое чувство — что шутки кончились: ноши добавилось.

На девять дней меня отпустили в Москву, промхоз чуть ли билеты не оплатил, и был сбор у нас дома, было горе, еще и двойное, оттого, что он где-то там умер, а мы тут... И были люди, разные, каждый со своей судьбой, самостью... Все говорили... Тетя Ира, первая жена дяди, сказала, что, когда увидела его в коридоре ВГИКа, ее как током пронзило — когда она увидела «его глаза, горящие и беспомощные».

Я вернулся в Бахту, и в январе шли по телевизору дядины картины, а в тайге по радиации — обсуждения. Мужики никак не могли подобрать оборот, чтобы выразить впечатление необходимо и для себя, и для дядьки: фильмы были настолько странны и непривычны, что непонимания было больше. Хотя, что можно увидеть на черно-белом телевизоре с прыгающим светом... Один возмущался: «Смотрел этот Скалт, Стак, Скалкер...» Он так и не прожевал стекла, но этим ломанием языка все было сказано. Потом Саня Устинов (позывной Черемшанный ручей) сказал: «Не для средних умов», и всех эта формулировка устроила. А Вася Слабодинский, наоборот, сказал: «Да чо вы, мужики, — по мне, дак все понятно».

Так и сидел я на подслухе, слушал отзывы и был меж двух огней: понимал и мужиков, и то, почему им картины чужды. И погибал от страстного желания, чтобы кто-то заразился ими, требующими погружения, безоглядного доверия и сердечного мужества и грозящими потерей всего остального кино — в лучшем случае штукарского, а в остальных пустого и как разбавленного.

Задолго до этого в Москве в кинотеатре «Витязь» мы ходили на просмотр «Соляриса». Сзади сидел с двумя девицами молодой хлыщок артистической повадки. Маленький, круглобокий, лысоватый. Весь фильм он пошлейшим образом комментировал происходящее на экране, а девы прыскали со смеху. Когда по коридору космической станции проходила под звон колокольцев бывшая гиборяновская возлюбленная — в чем-то коротком, зеленом и невыносимо прозрачном, — он сказал, что он обязательно бы «такой девочкой» воспользовался. Подружки снова прыснули... А хлыщок еще долго пытался пошлить, а потом сказал, сам от себя устав и словно остывая: «Он, конечно, сумасшедший...»

Кастет

От бабушкиного сына мне достались кастет, шапка и ремень. Кастет — времен его молодости и дворово-уличных боев. Очень грамотно сделанный, небольшой, грозного вида — с колючими вперед зубьями. Шапка-ушанка с ржавым твердым мехом и кожаным верхом — коричневым и ишпорканным. Верх круглый, как шлем, и шит из долек. Ремень — офицерский, редкий — с разрезной бляхой и шпинечком, на который ременный охвосток надевался дырочкой. И шапку, и ремень я износил по лесам... Мало меня драли в детстве, а еще меньше в юности. Ремнем-то в аккурат было бы...

Кастет я нашел завернутым в тряпку в шкафу. С ним вышла история.

От Стремянного к школе вел земляной проулок. И в нем рыли траншею, и туда провалился задним колесом грузовик, вековечный темно-зеленый ГАЗ-51. Шофер остановил проезжавшую по Стремянному грузовую машину, зацепил трос, та потянула, но лишь забуксовала и задержалась. Рядом стоял здоровенный мужик в рабочей одежде и, качая головой, повторял: «Не-е-е, я грю, сюда груженого МАЗа надо».

Вот по этому проулку, идя из школы, я перебежал Стремянный перед грузовиком, едва под него не угодив. Это мгновенно стало известно: «Мишка безобразно написал урок. Весь расхлябан. Разбил, ложась спать, белый абажур — уронил со своего столика лампу, пятился, чтобы пропустить меня к его

кровати. Вчера (из-за Кольки Лианозова) чуть не попал под грузовик. Глаза его чесучие здесь ни при чем».

А вышло вот что: после школы я показал Лианозову кастет, но вместо того, чтобы испугаться, Колька мгновенно завалил меня и, отобрав кастет, начал им же меня и дразнить. Я кинулся за ним, и мы перебежали Стремянный перед грузовиком, который меня едва не подмял — тормоза закрипели ржаво-крикливо. К моей скорости мерзопакостно добавилась наддача хода, постыдный затылочный холодок... А после на тротуаре нелепое замедление, чувство вины и оглушительной подавленности.

Грузовик косо остановился у тротуара, и из него, не закрыв дверь, выскочил с белым лицом водитель и, нагнав меня, несколько раз показательно шарахнул по голове кулаком — костяшками вниз. «Будешь еще так делать?! Будешь?» Когда он уехал, подошел Лианозов, вернул кастет и проверил по-хозяйски, все ли во мне цело, — но не ради меня, а так, для общей безопасности. Кастет я дома потихоньку убрал в шкаф и больше не видел. Бабушка, видно, его «ликвидировала».

Так еще одной памяти не стало.

Лето после девятого класса я провел в Туве в противочумной экспедиции. Так закончилось наше деревенское векование с бабушкой. Это сейчас сжимается сердце от слова «закончилось», а тогда лишь брезжили сибирские дороги и была лишь помехой бабушка со страхами, что меня «испортят» и причут к «вину».

Рассказывали, что она действительно звонила начальнице и беспокоилась, не «испортят ли» меня. Но не испортила меня ни дорога на поезде в Абакан, ни переезд через Саяны по Усинскому тракту, не говоря уже о полете в Мугур-Аксы и всем остальном фантастическом лете, закончившемся выездом через Монголию на машине, поскольку перевал через Цаган-Шибэту был закрыт облачностью и АН-2 не пускали.

Не испортили меня и вершины, как по линейке посеребренные инеем и присыпанные сухим сибирским снежком. Не испортили настолько, что от одного вида остроконечных саянских елок и пихт у меня сбилось дыхание и этого хватило, чтоб навсегда вернуться.

Третье зеркало

По возвращении из Тувы я всю жизнь жил жизнью десятиклассника, возвращаясь из школы, от друзей, из лесу, куда ездил на каждые выходные, в нашу с бабушкой комнату.

Одно воспоминание об этом родстве и соседстве доводит сердце до замирания, и меня интересует лишь одно: чего было больше — бабушкиных огорчений моим невниманием и грубостью или теплых минут нашей близости.

Скорее, все-таки огорчений. Бесконечные пикировки и пререкания, касавшиеся каких-нибудь словечек и слов, моего поведения, уважения к ней и ее обычаям и, конечно, всего того, что касалось ощущения бабушкой современного мира, меня в его лице и всего, что я приносил домой из школы, компании, с улицы.

Так и стоят в ушах бесконечные: «Не груби», «Не осли» и «Не переговаривай». Переговаривать означало править бабушку или поддразнивать.

Какое-нибудь слово могло быть серьезнейшим поводом для разлада — именно оттого, что бабушка очень хорошо чувствовала время и состояние поколений. Особенно ее огорчало, что люди с отбитыми корнями и без чувства истории часто стыдятся простых слов, на которых росли деды и бабушки. Слова эти, по их представлениям, будто бы свидетельствуют о некоей «некультурности», и эта падкость на лжекрасивое, лжекультурное, вырвиглазное для бабушки было источником извечного раздражения, особенно когда я, набравшись расхожего духа, лил воду на подобную мельницу.

Война шла вокруг какого-нибудь нелепого слова, и чем сильнее была его нелепость, тем больше страсти вкладывал в свою линию каждый. В те годы в обиход входило стыдливое слово «туалет», настойчиво теснившее привычную «уборную». Как ни пыталась бабушка объяснить, что «туалет» — это столик, за которым женщина приводит себя в порядок, я нет-нет да и сбивался на нововведение, а то и «переговаривал», то есть поддразнивал бабушку за ее «уборную». Или «ослил» — пытался вышучивать «уборную», а заодно и бабушку с ее пристрастиями и непривычкой к разжёвке.

У бабушки начиналось «сердцебиение». Она просила «перкратить», а я поправлял: «Не прекрати, а прекрати!», а бабушка еще сильнее молила «перкратить» и объясняла, что от каждого моего слова сердцебиение сильнее и сильнее.

Зависимость от моих слов ее здоровья казалась капризом, спекуляцией, чем-то даже и возмутительным: ведь раз так, то я какой-то губитель, а я-то хороший! Изнемогая, бабушка так и говорила: «Зачем ты меня губишь?»

Иногда от безвыходности она могла списать вину на кого-то из моих обобщенных старших товарищей: «С этими великовозрастными балбесами ты совсем охолпел». Слова: «великовозрастные», «охолпел» казались мне раздражающе вывернутыми, и я только пуще «ослил».

У меня был одноклассник Пястолов. Я закривлялся, а бабушка пригвоздила, опознала: «Ну всё — это Пястов!» В тоне ее я услышал гордость за то, с какой точностью она определяет любой объект моего обезьянничения. Досадно было страшно, потому что, во-первых, мальчишку звали не Пястов, а Пястолов, а во-вторых, Пястолов был абсолютно образцовым отличником, тихо-спокойным и еще и освобожденным по здоровью от физкультуры. Он не кривлялся вообще.

Случалось, бабушка и гордилась мной: была в школе олимпиада по биологии с вопросами по птицам. Я победил на классной, школьной, районной олимпиадах, а на городской взял хорошо баллов — почти победил. В одной из школ набирали биологический класс. Мне предложили пройти собеседование. Я прошел и был принят.

Но вообще, школьная жизнь меня не особо занимала, и главным оставались лесные компании, сапоги-телогрейки, ночевки у костра с винишком, которого панически боялась бабушка. И гитара была, на которой я всю долбил аккордами, а бабушка раздражалась и требовала, чтобы сыграл мелодию. Плохо, обидно и бессильно было бабушке — налаживала в лес, а тот вылез не дружбой со зверюшками, а кострами да компаниями.

Была горячая история.

После того как я «сломил палочку» вьюжной старушке, я, приехав домой, ни слова не сказал о случившемся бабушке. Боялся растрогать, да и слишком своим считал и это воодушевление, и гордость за способность к состраданию, и свое сладостное ошеломление...

Ввалившись и скинув рюкзак и воняющую костром одежду, я замер у зеркала, изучая свою физиономию — меня интересовало, насколько она обветрена и достаточно ли хорошо заметна эффектная царапина от сухой еловой ветки, через которую я продирался за хворостом для костра. Подошла бабушка, остановилась рядом со мной так, что я и ее увидел в зеркале. Она была ниже меня и лицо ее казалось белым по сравнению с моим, нажаренным ветром. В перевернутом слева направо бабушкином изображении обнаружилась непривычная асимметрия: правый глаз чуть ниже и угол рта слегка будто обвис. Я искренне и научно удивился наблюдению и воскликнул: «Бабушка, какая ты кривая!» А бабушка дрогнула лицом и сказала негромко: «Да. Кривая и старая». Заплакала и ушла в свою комнату.

Бабушка на собрании

Бабушкина забота сопровождала меня все старшие классы. Я плохо учился по математике. На уроке меня подняла учительница, маленькая, черненькая в очках, с беличьим личиком. Спросила что-то, но я опять прослушал и не знал. Она выговорила: «Опять ты работать не хочешь. Отвлекаешься. А потом бабушка будет приходить четверку вымалывать». Вымалывать... Стыдно было перед одноклассниками и обидно за бабушку — мне в голову не приходило, что она за меня просила.

Ходила бабушка и на собрания. Одноклассник рассказывал со слов родителей: после собрания все делились достижениями своих детей. У кого-то горные лыжи, музыка у кого-то. Бабушка сказала: «А мой Мишка все в лес норовит. Мешок на себя навьючит и только его и видели!»

Дедушкины шутки

На кухне бабушка раскладывала пасьянс — «картинную галерею», «косынку» и «могилу Наполеона». Сидела в каком-то, как мне казалось, вынужденном сосредоточении, будто занимая время, отвлекаясь от грустного. И тоже будто падение: бабушка и карты, от которых всегда пошлинкой веет, особенно от дам и валетов. У бабушки и здесь свое деление: терпеть не могла, когда говорят «крести» — надо «трефы», ну а уж «вини» предел вырвиглаза. Хуже, чем «буби». Разложив пасьянс, сгребала и убирала карты в коробочку из карельской березы, всегда стоящую на кухне. Я тоже научился раскладывать и, помню, даже увлекался бездумным этим занятием.

К бабушке приходили разные люди. Сидела с ними на кухне, курила, долго выдыхая через ноздри, говорила увещевающе твердо, по обыкновению объясняя явление одним каким-то всемогущим словом. Особенно рьяно ходила Валя-Контральто, с которой они уединялись, и та обрушивала свои любовные задачи, а бабушка сдержанно наставляла.

Стала названивать бабушке наша учительница литературы Римма Зиновьевна, пожилая в очках и с претензией на неказенный подход в обучении: на литературном вечере поставила пластинку Высоцкого. Пригласила дочь, видную девицу в брюках, тоже в очках, но свежешекастую. Глядя поверх голов, та читала Блока леденяще актерски, и молодые люди сглатывали и переглядывались.

Римма Зиновьевна прорвалась к бабушке в гости, принесла стихи свои, заставила читать и «высказываться». Потом выпросила у бабушки тетрадь с дедовыми стихами (будто для литературных изысканий) и долго не возвращала. Хотя приходила, чего-то от бабушки требовала, а бабушка потихоньку дозревала до развязки. В конце концов Римма навсегда убежала, а бабушка бросила: «Институтка».

Приходила тетя Ира Шигорина, бабушкина кинешемская подруга, самая мною любимая. Сидели с ней в комнате — бабушка вышла, а я стал рассказывать, как хорошо бродить по родным просторам, и что бабушка тоже вдоволь отбродила, особенно по Заволжью... Разговаривал с тетей Ирой по-взрослому, ощущая вольность, которую не позволял с бабушкой. Тетя Ира согласилась: «Да. Что может быть лучше такого брождения... Особенно если с милым...» И это с «милым» прострелило, показалось и правильным, и почти излишним, открывающим тетю Иру с другой, ненужной стороны... Поссорились они с бабушкой из-за пустяка.

Иногда к нам заезжал и дед с женой, и мне в который раз казалось, что дед мучит и, несмотря на другую жену, не отпускает, держит на привязи бабушку. Вынуждая сидеть покорно-сосредоточенно, и все равно... светясь его присутствием.

Ездили и мы к деду, чаще с мамой. Дед был балагур, то говорил перевертышами, которые мы потом долго повторяли: «Кулочная-бандитерская». Или: у мамы зеленый плащ, я говорю, что она, как гусеница: «мама гусеница». Он: «гама-мусеница». То вдруг сыпал двустигмьями: «Философ древности Сократ купил по случаю домкрат». «Я пришел к тебе с приветом рассказать, что я с приветом». То цитировал будто бы открытого им поэта Голованова. «Старичок, вдруг так захотелось домой». «Кто здесь Голованов? Я здесь Голованов». («Спит моя любимая — сердце океанов» — это продолжение я узнал позже). Или

Больной убегает из замка
При свете вечерней зари.
Не вскрикнула даже цесарка,
И ключ оказался в двери.

Цесарка его умиляла. А я представлял этого Голованова каким-то сумасшедшим, бедовым и бездомным старичочком и спустя годы был удивлен, что за этим именем скрывался московский кинодраматург, вполне вменяемый и почти маститый и написавший примечательное посвящение Есенину. «Я знаю, Вы ушли не своей волей, что декорацией была петля».

У деда была распечатка стихов, и он специально выискивал именно детски-странные или бредоватые строки. После «цесарки» дедушка мог добавить, продолжая куриную тему: «Как у Чехова, “Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет!”» — и повторит, радуясь, что и нам смешно: «Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет!» Потом вдруг процитирует: «Уыпьем уодки. Уолт Уитмен».

Потом вдруг вспоминал анекдот про английский юмор: «Немцы в войну построили деревянный завод, а англичане бомбили деревянными бомбами». И смеялся, чуть трясясь. Байка оказался правдой, только речь шла не о заводе, а об аэродроме.

Научил нас куплетам про обезьян, которые страшно понравились бабушке, и она долго их повторяла и всячески распространяла. Пелись они на мотив «По-забыт-позаброшен». Там были такие слова:

«Ах, Саргассы, Саргассы,
Здравствуй, мой капитан!
Не привез ли ты мяса
Для моих обезьян?»

А капитан отвечает:

«Обезьяньему классу
Верно служит матрос:
Не привез я им мяса,
Но бананы привез!»

Тогда заваривался следующий куплет:

«Ах, Саргассы, Саргассы...
Здравствуй, мой капитан!
Ты привез ли бананы
Для моих обезьян?»

И следовал ответ, что «не привез он бананы, а котлеты (конфеты, пакеты) привез». И так до бесконечности.

Бабушка легко поддавалась полосам увлечений, и такая песенка могла стать мотивом целой недели или месяца. Помню как-то раз ее подруга по Кинешме Нина Юрьевна Алексеенко научила ее допотопной будто бы морской песенке про океанский пароход, груженный дурацкими пассажирами.

Из Нью-Йорка в Лиссабон
Пароход в сто тысяч тонн
Шел волнам наперерез
И на риф налез.

И погиб трансатлантик
С экипажем в тот же миг,
И никто не был спасен,
Кроме трех персо-о-о-н:

Мисс Кэ-э-эт, двадцати пяти ле-е-ет
Из Монтельеро. Дочь миллиардера.
Один матрос — Юпитер-Питер Досс
И вождь индейцев Лисий Нос.

Ритм ломался и следовал куплет:

Плыли они в бочке
Из-под керосина
Иль из-под бензина:
Это все равно.

А дальше шел куплет, который очень бабушку смешил:

Вождь индейцев был умней:
Он развел костер на ней...

Мне подобная ирония казалась неуклюжей и старомодной. А бабушка все это запоминала, напевала и теплую радость испытывала...

Или вот есть названия театров — имени Станиславского... И дед придумывает не театры, а драматургов. Например, «Станиславский имени Немировича-Данченко». «Островский имени Сухова-Кобылина». Скорее всего, его это действительно смешило, но мне казалось — он больше для нас забавлялся, чтоб не мучили серьезным. Общение ему становилось с годами все тяжелее. Он то развлекал нас стихами и куплетами, то просто сидел, постукивая костылем и чуть улыбаясь на мамины слова — появилось у него даже вроде тика: соборивать и выдвигать морщинисто губы, словно хотел кого-то поцеловать.

Однажды так соборивал-соборивал и вдруг сказал: «Войны не будет. Такие арсеналы накоплены».

Дедушкин вечер

Был вечер в Политехническом музее, на котором дедушка выступал в наборе с известным гитарным певцом, дедом — сыроедом и академиком, и молодым общественным проходимцем самонадеянной повадки. Выступали по очереди.

Бард спел про Моцарта, который не выбирает Отечества, но зато напиливает на скрипке, невзирая на то, что окружающая жизнь «то гульба, то пальба». Несмотря на гниловатое содержание песня впечатляла мелодичностью. Выступавший следом политик впал в историю и, рассказывая о древних временах, все время ссылаясь: мол, жизнь у наших предков была... как вот тут «наш уважаемый бард» спел, то гульба, то пальба... «Хе-хе»...

Дед-академик с южнорусским говорком был одержимым. Громко и с жаром проповедовал он свое питание, рассказывал, как с утра съедает огромную тарелку крупно нарубленных овощей — и что эту грубую пищу, *клетчатку*, обязательно нужно есть, чтобы запустить желудок. К слову, несмотря на чудаковатую повадку, человек этот много сделал в медицине.

Потом вышел мой дедушка и прочитал стихи, которые я до этого видел лишь в книге и, как оказалось, недочувствовал. Оворожило стихотворение «Вот и лето прошло» открытием, ясным образом света, строкой «день промыт, как стекло», тщетой какой-то, душевным знанием и покаянной бессильностью этого извечного «мало». Глубоко, сложно поразили «Первые свидания», которые, я не сомневался, посвящены бабушке. Была там и пульсирующая в хрустале вода из первых моих замоскворецких весен — мама принесла вербы и поставила в длинную хрустальную вазу... Годы спустя с разочарованием и досадой узнал я, что речь шла не о бабушке. Точно так же собственнически я считал, что «Марина», «стирающая белье», — моя мама.

Третье стихотворение, которое запомнил я столь же ясно, называлось «Игнатьевский лес»...

Слушали зачарованно, особенно запомнился еврейский дяденька, в блаженстве полуприкрывший глаза. Эти характернейшие полуприкрытые глаза я частенько наблюдал в те годы на культурных сборищах. Надо сказать, их обладатели деду благоволили и даже приписали стихотворение про верблюда на свой счет, усматривая в нем едва ли не гимн.

Дед выступал в костюме, на костылях. Стоял, лоя равновесие и держа одной рукой книжицу — видимо, наизусть не помнил. Читал, чуть подрагивая голосом, и выделяя «я» — «несет землянику», «девочка Серебряные Руки».

К моему раздражению в конце дедовского выступления планово вклинился известный актер, рослый, породистый, с круглым черепом и большой зальсиной. Необыкновенно вертлявый и похожий на оживший галстук из мультфильма, он некоторое время шикарно вился, метался и изливался у микрофона во славу деда, а потом очень живо и артистично прочитал поэму «Чудо с щеглом». Улыбаясь в наиболее забавных местах и прикрывая глаза в самых лирических. Дед одобрительно сидел все это время, а когда поэма закончилась, теще приобрел его и, сияя, удалился.

Из зала стали передавать записки — сложенные в несколько раз бумажки. Дед, балансируя на протезе и костылях, держал записки в руке и читал по очереди.

Спросили, как он относится к творчеству своего сына. Дед ответил, чуть улыбнувшись: «Положительно», и все захлопали. А по завершении вечера сидящая рядом маленькая пожилая и загадочная женщина сунула мне букет: «Поди поздравь деда — как следует», и я выперся на сцену. Удивленно, как Дядя Андрей возле Хутора, дед протянул мне руку. Я не понял, признал ли он внука. Он очень волновался и устал.

Мама и бабушка были со мной рядом на этом вечере, но, к стыду, не помню их вовсе.

С претензией на выси

Одноклассник попросил показать деду свои стихи. Были они с замашкой на высоту — в одном воспевалось нечто, что, «наверно, временем зовется», в другом он ждал вдохновения. «Я чувствую грядущие стихи». Я показал деду и попросил написать несколько слов. Дед написал письмецо на целых полстраницы. Одноклассник надулся, мол, тоже поэт, а такие общие места говорит. «Это мне любой рядовой писака сказать бы мог...» Позже он заключил фиктивный брак с финкою и уехал за границу, но не на берег моря, северного или южного, а в Европу. Перед отъездом сказал в телефон томно и в нос: «Я отбыва-а-аю». И поделился своими опытами в области «дрейфа искусства».

Дедушка же написал примерно так:

«Молодой человек, работа над стихами — тяжелейший и подчас невыносимый труд. В поэзии недопустима неопределенность понятий и образов и не бывает ни одного случайного слова. Даже в самом сложном и лирически многослойном стихотворении поэт четко должен знать, что хочет сказать. Желаю вам терпения на этом нелегком пути».

Еще «стыдобушка»

Была еще одна стыднейшая встреча с дедом... Огребя трояков по математике и химии, я не поступил в университет и год проработал на биологическом факультете в виварии кафедры зоологии позвоночных — той самой, на которую метил. Считалось, что за зиму я подучу химию и поступлю со второго раза, а работа вырастит меня в факультет. Требовалось кормить разнообразных мышевидных

и убирать в клетках. Напялив грязный халат, таскал мешки — то с опилками, чистыми и грязными, то с капустой и морковью. Штатно забегали студенты кафедры с портвешком — место было давно облюбованным, — шли в ход морковки с кочерыжками. Работа требовала аккуратности и дотошности, но при всех моих зоологических интересах, к уборке мышей душа, как выяснилось, не лежала... При этом замечательные воспоминания оставили муйские полевки — из-за своего происхождения в Муйской котловине в Забайкалье: Восточной Сибири я бредил. Большие, почти черные и запредельно пушистые. Ворс торчал под девяносто градусов, и полевки выглядели смешно тупомордыми. Ими заботливо занималась одна милейшая женщина, писала по ним диссертацию.

К чистке клеток я относился все халтурней, еле доживая до вечера пятницы, чтобы свалить с товарищами в лес. А там телогреечка, костерок, гитарка... К весне сиреневой поволокой взялись дали, налились, переходя в нежную зелень, светясь салатovým контурком... Все постылей казался город с воньким виварием, клетки с мышинным пометом. Еще и подготовка к экзаменам добавляла... валентности хрома.

Виварий располагался на четвертом этаже, но иногда я спускался и на второй — главный. Факультеты университета были сделаны богато — как первый класс пассажирского парохода: лакированные двери и окантовки темного дерева, греческие парапеты и широкие лестницы. Понесло меня в замаранном халате на второй, парадный этаж. И вот приближаюсь к двери деканата, особо лакированной и породистой. Вдруг она открывается и навстречу мне выходит дедушка Арсений.

На костылях, по своему обыкновению, шагает широко, галсами. На расстегнутом пиджаке планка орденов. В замешательстве подхожу, он тоже будто в замешательстве сует мне руку.

Я мгновенно догадался, что он просил декана помочь мне поступить и что его, в свою очередь, просила мать или бабушка... И что это от меня скрывалось, и я взял деда с поличным. Годы спустя выяснилась и зацепка: дед знал декана отца — поэта Виктора Гусева...

В университет я не поступил, хоть мне и натянули четверку по математике — трояк по химии и сочинению никуда не делись. В августе я поступил в пединститут с пятерками. Даже участие деда не привело меня на биологический факультет. Но Бог знает, как сложилась бы жизнь, поступи я на зоологию позвоночных: вдруг до Енисея бы не доехал.

Головизна

После первого курса тетка по отцу тетя Нина Ерошенко по моей просьбе устроила меня к друзьям в экспедицию в Бодайбо. Экспедиция была от того же института НИГРИЗолото, от которого ездил Дядя Андрей на Курейку, только теперь институт назывался ЦНИГРИ. Мы работали неподалеку от поселка Кропоткин, где стояли на ключе небольшим отрядом. Мое дело было долбить молотком породу и выбирать кварцевые жилы с кристалликами золота. Образцы я клал в мешочки, которые тащил в рюкзаке к машине, шестьдесят шестому «газону». Мы приезжали в нужное место горы и оттуда шли пешком к жилам, траншеям или шурфам. У меня оставалось свободное время, и я отпрашивался у начальницы, очень интеллигентной пожилой женщины, к стыду, забыл имя,

кажется, Екатерина Александровна. Меня отпускали, я брал рюкзачок, где лежала закопченная банка с проволочной ручкой (для чая) и фотоаппарат. Переваливал за сопки, пил чай у ручья с рыжими камнями, искал, ловил, переживал образ Восточной Сибири, сверял с вычитанным. И то находил, то нет: тайги густой и сплошной здесь не росло, только по долинам, распадкам. И больше было гольцов с лиловым курумником, сопки, мягко-мохнатых от кедрового стланика. Набрел я однажды на таежку из худосочных елок и кедров и рад был сердечно, вспугнув с пола двух каменных глухарей.

Пожалуй, сильнейшим и наиболее драгоценным из тех впечатлений был образ трудовой Сибири, промышленной, промысловой, старательской. Трудовой этот и нежданно народный дух, который я хватил лишь краем, произвел на меня сильнейшее впечатление и окончательно наставил на сибирскую долю. В ту пору я был студентом, и мое возвращение в город к лекциям в теплых аудиториях казалось постыдным по сравнению с жизнью бодайбинских работяг. И страстно хотелось вернуться в Бодайбо и уйти в осень, в зиму.

Жил я на подбазе в Бодайбо, где меня поселили в пустом бараке, указав на раскладушку со спальным мешком. В этом неизвестно чьем спальном мешке я подцепил вшей. Одновременно у меня воспалился зуб и вспух целый флюс. Зуб я пытался еще на лагере полоскать одеколоном, наливая в крышку от футляра своей подозрительной трубы. Даже глотнул для эксперимента одеколона — не выплевывать же.

Вшивость я определил не сразу, пребывая в настолько очарованном состоянии, что чесотка, начинавшаяся ночью и не дававшая заснуть, была чем-то непонятно-невнятным — я решил, что чешусь от грязи. Сходил в баню, не помогало. Поехали на Бодайбинку по ягоду, и, идя по лесной дороге, я поймал на себе небольшое насекомое, но, продолжая недоумевать, допустил, что на меня прыгнули с дерева.

Надо сказать, что патлат я был в те годы по плечи и моим поселенцам обиталось вольготнейше. Поэтому жили крепко, откладывали личинки и выводились. Пока мы ждали самолета на Иркутск, я расчесал голову до струпьев.

Упоение экспедицией перевешивало все. Довершил дед в иркутском аэропорту, сухой, бледно-синий, с несусветными руками. Кисти с распухшими суставами так и застыли полуковшами. «Промывальщик», — подумал я зачарованно. А он все говорил сидящему рядом пареньку, как искать золото. Поразили слова. «Падун» (водопад) и «проходнушка» (деревянный шлюзик для промывки золота) лишь детский лепет по сравнению с тем, что я слышал, да не запомнил. Дед не наставлял, он проповедовал, громко и страстно, не глядя на слушателей, и что-то трагическое, ярое, авакумовское было в тщетном и страстном его посыле.

И вот московский большой самолет. Пока вырুলиваем, проводница объявляет, что погода ясная и что, когда взлетим, по левую мы сможем увидеть «заснеженные вершины Восточных Саян». Едва я услышал магические эти слова, как мураши поползли по спине и теплой щипучей волной стопило глаза.

Вваливаясь в нашу квартиру, я почти догадывался, что творится с моей головой: «Мама, посмотри мою голову, мне кажется, у меня лишай!» Отца дома не было, мама с бабушкой потащили меня в ванную, где мама чесанула гребнем, и все, кто там жил, по выражению бабушки, «с треском посыпались» на дно ванны. Потом бабушка сказала: «Давай головизну». Я дал головизну, и бабушка

полила ее керосином и надела на нее мутно-прозрачный полиэтиленовый пакет. Не помню, долго ли напивывали расчески и стружья керосин и сколь вышагал я по квартире, пока бабушка не раскабалила головизну.

Я все не стриг шевелюру, несмотря на бабушкин указ, и на практикуме по зоологии беспозвоночных, показательно порывшись в волосах, извлекал белую точку и совал на предметное стекло, всячески остря. Вскоре настала военная кафедра, и подстриженная головизна утерjala последнее материальное свидетельство моего бодайбинства.

Зато память как с цепи сорвалась: я сочинял о Бодайбо песни, кипятил на газовой плите чифирь и мешал со спиртом, хотя никто у нас в отряде так не делал, и все я взял у Астафьева и Куваева...

Дед Сережа

В Бодайбо меня отпустили с геологической практики с условием, что привезу образцы. Я и привез кусок породы с кварцевой жилой и кристаллами золота. Начальник практики положил их под стекло в кафедральный музей. Как отблагодарил я тетю Нину за экспедицию, не помню. Позже она заболела и написала мне письмо: «горжусь, что оправила тебя в экспедицию со своими друзьями». Видно, чего-то хорошего наговорили обо мне ее друзья, среди которых был знаменитый специалист по золоту Сергей Дмитриевич Шер.

Сергеем Дмитриевичем звали и тети-Нининого отца, дедушку Сережу, сварившего мне станок на королёвском заводе.

Когда умерла тетя Нина, мы с ее сыном Митей, моим двоюродным братом, отправились в Болшево сообщить дедушке Сереже. Он жил один, бабушки Марии Макаровны уже не было в живых.

Как дед обрадовался, когда мы с Митей к нему приехали! Как засутился, заполошился, засновал меж столом, холодильником и балконом!

— Ребята! Внуки! Ой, ты смотри! Внуки приехали! Сами! Наконец! Вот это да! Ты смотри! Сейчас, сейчас! Ребята...

Стал накрывать стол, достал с балкона пыльные бутылки с доисторической какой-то водкой. С выгоревшими этикетками и густой пылью... И вот наконец мы втроем сели за стол... И вдруг — как время остановилось... Дед замер, потемнел лицом и вскричал:

— Что? Говорите! Не молчите!

Митя сказал:

— Мама не стало.

У Мишки обед есть?

Дедушка Сережа заболел. Я поехал в Подлипки в больницу, и он сразу расспрашивал про Енисей, сунул ручку с бумагой, велел рисовать карту Енисея, избушек, речек и чуть ли не каждого капкана и кулёмки. «На ручку, вот! Вот! Рисуи! Где вот ты живешь? Где, что?» — почти выкрикивал он. Я водил ручкой, а он, прилипнув к листку, следил: «В-о-о-о... Вот так во-во! Вот так во-во!» С искренним и спасительным для себя интересом, будто названия ручьев и порогов вдыхали в него жизнь.

«Рисуи! Рисуи!» — требовал с дрожью...

«Рисуй!» Не помогли рисунки. Ушел и дедушка Сережа...

Но какую силу вкладывали в Батюшку-Енисея люди, ни разу его не видевшие! Поверившие в него безоглядно через полстраны просто за то, что он Енисей, и посылающие своих сыновей, внуков, кого угодно — напитать от него силы и веры.

А он и принимал как родных...

И все-таки рано или поздно придется подойти к той минуте, когда на енисейском яру в струнку вытянулись и без того прямые листьяги и содрогнулся наждачной рябью двадцативерстный плес, еще недавно так серебристо сливающийся с небом на горизонте.

Случилось это 5 октября 1979 года. В течение нескольких лет она перенесла два удара, а потом обнаружился рак легких, «север» с «прибоем» знали дело туго.

Я приехал с Енисея из экспедиции, по обыкновению отхватив не то полсентября, не то больше и прикрыв пропуск неразборчиво написанной справкой от бахтинского фельдшера о какой-то дежурной хвори. Бабушка уже лежала. Мама колола уколы, и мы жили волнами: когда действие обезболивающего кончалось и боль становилась невыносимой, бабушка просила укол. Был уговор, что, когда понадобится, она будет стучать: кружкой ли по табуретке, ложкой ли по чашке. Набат этот раздавался все чаще, бабушка, как мне казалось, начинала капризничать, грохотать даже почти «назло», «понимая», что мы слышим, но пользуясь договором чересчур настойчиво. Ко мне пришел друг по Туве, Паша, и при нем на ее стук я прокричал грубость, а когда вошел к ней, она сказала: «Ну зачем же ты так? Ведь *потом* жалеть будешь, плакать...»

И снова уколы, и через каждые пятнадцать минут: «У Мишки обед есть?»

Дядя Андрей приходил. Встреча в коридоре: отец с судном, тот с розой.

Я лежал на своей кровати, и бабушка вдруг неожиданно тихо и трезво сказала: «Умирает бабка». Меня кинуло к ее кровати. Кротко, испуганно и тихо ткнулся губами в висок, в щеку любимой бабушки. И ничего не мог сказать, убитый еще и контрастом меж горем и своим бессилием... Не зная, что прокричать, как перевернуть мир, чтоб спасти бабушку, остановить это безумие...

Сколько она мне потом снилась! Сколько раз, обливаясь слезами, таскал ее на руках, выносил из каких-то больниц, из избушек в тайге, утешал, гладил... Сколько раз просыпался, объятый горем и рычал среди ночи, закусив губу, безоруженный, залитый сном-горем, в котором, как заведено по сонным законам, все сильней и подлинней, чем в воспоминаниях и в жизни.

Настал день, когда все кончилось: мама с потемневшим взором вышла от бабушки. Мы с отцом вошли в комнату. Бабушка недвижно лежала на кровати. С угла рта стекала багрово-темная струйка.

Приехал Дядя Андрей, и мы сидели на кухне с ним и с матерью, мама плакала, а он говорил:

— Это себя жалко...

Мол, она *там*. А то, что лежит на кровати, — это не *она*.

Были похороны на ближайшем Востряковском кладбище. Собрались люди, давнишние и как из небытия выуженные, собранные горем. Черный газ косынок... Скорбная темень в глазах... Женщины с их непонятным для меня переходом в подробности: шепот... четное-нечетное число цветов в букете... как подоткнуть ткань... И страшность этого прижима к земному, словно вечность

ввалилась, и никто не знает, как с ней быть, и спасается подручным. Мамино лицо с похудевшим ртом и с подбородком, замершим на переходе к абрикосовой ямке.

И вот кладбище. Шли сначала по центральной аллее, справа от которой виселись надгробья со звездами Давида, огромные и казавшиеся мне кощунственно богатыми по сравнению... Да не знаю, с чем по сравнению... С бабушкиной долей, наверное... С русской участью... И надо пройти дальше, а потом еще два раза свернуть в тесноту могил под деревьями. Стояли там, и я ничего не помню, кроме чувства беды и какого-то всем необходимого спасительного завершения, упрятывания горя с глаз долой. Под землю.

Вдруг выяснилось, что у ворот кладбища стоит Терехова и мне велят ее встретить и привести. Я воодушевился хоть какой-то своей полезностью, пошел к воротам, за которыми горе обманчиво ослабло — на ветерке, в шуме машин. Встретил ее, стремительно напряженную, летящую, с цветами, огромно-темными розами... И уже, как здешний, знающий, повел ее по кладбищу, но, пройдя нужное расстояние, понял, что путь к бабушкиной могиле намного сложнее, чем я думал, и я его не помню.

Сколько мы носились по кладбищу... Сколько я, холодея от стыда, нарастающей паники, рыскал по дорожкам — совсем как тот, пятилетний, потерявший бабушку в Ленинском скверике. Только на мне взрослые ботинки и в метре несется Терехова в чем-то крылатом... Сколько вырыскивал нужный поворот, бормотал, что «вроде здесь»... Пока наконец сама не выплыла на нас бабушкина могила.

Гораздо ближе к воротам...

